

## ПИСЬМА ОБ ИСПАНИИ

В. П. Боткина. СПб. 1857 г.

После произведений поэзии путешествия везде составляют самую популярную часть литературы. По числу изданий и по отчетам публичных библиотек видно, что и в Англии, и в Германии, и во Франции рассказы о путевых впечатлениях и приключениях, о природе чужих земель и нравах народов, населяющих эти земли, читаются с большею жадностью, нежели какие то ни было другие книги серьезного содержания. Даже исследования о политических вопросах, даже исторические сочинения не могут отнять у путешествий первенства в этом отношении. В самом деле, путешествие, соединяя в себе элементы истории, статистики, государственных наук, естествоведения и приближаясь к так называемой легкой литературе своею формою, как рассказ о личных приключениях, чувствах и мыслях отдельного человека, в столкновениях его с другими людьми, — людьми, жизнь которых тем любопытнее для нас, что они живут в условиях иной обстановки, нежели публика, для которой предназначается книга, — путешествие совмещает в самой легкой форме самое богатое и заманчивое содержание. Путешествие — это отчасти роман, отчасти сборник анекдотов, отчасти история, отчасти политика, отчасти естествоведение. Каждому читателю дает оно все, что только хочет найти он.

Как везде, и у нас путешествия исстари были любимым чтением. Не заходя в старину слишком далеко, вспомним только, что новейшая русская литература началась «Письмами русского путешественника», которые читались наверное не меньше, нежели «Бедная Лиза» и «Марфа Посадница»<sup>1</sup> «Всемирный путешественник аббата Деллапорта»<sup>2</sup>, несмотря на свою страшную массивность, принадлежал к небольшому числу наиболее распространенных в публике книг. Во времена Екатерины и Александра I, когда, сравнительно, переводилось у нас очень много

книг, путешествий переводимо было едва ли не больше, нежели каких-нибудь других книг серьезного содержания.

Тем прискорбнее, что, когда стала у нас сильнее развиваться оригинальная литература, число путешествий, особенно путешествий по Западной Европе, не было так велико, как можно было бы желать и ожидать. Но все-таки, до последнего десятилетия, количество этих книг было довольно значительно, по сравнению с другими отраслями серьезной литературы. Довольно много выходило даже таких путешествий, которые отличались замечательными достоинствами. Так, например, в десять лет (1836—1846), предшествовавшие последнему десятилетию, из одних воспоминаний наших путешественников по различным странам Западной Европы можно назвать «Записки и воспоминания о путешествии по Англии, Франции, Бельгии и Германии» Симонова; «Очерки Южной Франции и Ниццы» Жуковой; «Воспоминания о Сицилии» г. Черткова; «Путешествие в Мальту, Сицилию, Италию, Южную Францию и Париж» г. Всеволожского; «Париж, путевые заметки» г. В. Строева; «Год в чужих краях» г. Погодина; «Заметки за границею» г. Ф. П. Л.; «Прогулка русского в Помпеи» г. Левшина; «Четыре месяца в Черногории» г. Ковалевского. Не считаем различных «Путевых писем» и т. п. г. Греча.

Конечно, итог этот не велик; можно было бы даже подиниться его скудости, — в десять лет девять сочинений о всех различных странах Западной Европы! Но когда мы сравним с этим количеством число книг того же рода, вышедших в следующее десятилетие, мы должны будем назвать предыдущий период очень обильным. В 1847 году вышло «Путешествие в Черногорию» г. Попова. Затем — до настоящего времени не являлось ни одной хорошей книги, кроме «Италии» г. В. Яковлева.

Таким образом, мы не можем хвалить «Писем об Испании» г. Боткина по сравнению с другими подобными книгами в современной нашей литературе — таких книг нет, и сравнивать «Письма об Испании» у нас решительно не с чем\*.

Но тем большую цену приобретает от этого книга г. Боткина, которая по своим достоинствам заняла бы почетное место и в самой богатой литературе. Хотя в пре-

---

\* «Италия» г. Яковлева написана почти исключительно с артистической точки зрения; она говорит преимущественно о картинах природы и произведениях искусства и потому, при всех достоинствах изложения, принадлежит совершенно другому роду, нежели «Письма об Испании».

дисловии автор откровенно говорит, что он счел излишним ссылаться на газетные статьи, путешествия и исторические сочинения, которые служили ему пособием при составлении этих писем, и что многим из прочитанного воспользовался он, имея единственно в виду уяснения предмета для читателей, но тем не менее читатели не могут не быть благодарны автору за то, что он так умно воспользовался прочитанным и умел представить такую живую и полную картину страны, им описываемой. «Письма об Испании» помещались первоначально в «Современнике» (1847 и 1848 годов), и потому неуместно было бы нам распространяться в похвалах им, — да это и не нужно: все, читавшие наш журнал в то время, как он украшался письмами г. Боткина, слишком хорошо помнят его блистательные очерки Испании. Известность книги, о которой мы должны говорить, уже составлена, и нам остается только сделать обзор содержания этих «Писем» как одного цельного сочинения, проникнутого строгим единством воззрения.

Никто не знал происхождения первоначальных обитателей Испании, но надобно предположить, что они пришли туда с северо-востока, через Пиренеи. Финикийцы и греки находились с ними в сношениях и основали по морскому берегу несколько городов, преимущественно для торговых целей. Затем карфагеняне короткое время владели Испанией и наконец римляне, под властью которых находилась она почти пятьсот лет. В начале V столетия после Р[ождения] Х[ристов]а вторглись туда германские племена, — преимущественно вестготы, владычество которых пало пред храбростью и религиозным энтузиазмом арабов. Только на северо-восточной оконечности Испании сохранился небольшой остаток христианского владычества.

В продолжение 780 лет (от 712 до 1492) была Испания частью христианскою, частью магометанскою страной. Разъединение, внутренние междоусобия, честолюбие дворянства и ошибочная политика — все это замедляло окончательное решение борьбы между двумя племенами. Только женитьба Фердинанда Арагонского на Изабелле Кастильской (1469), соединив до того времени отдельные два государства в одну цельную Испанию, дала возможность уничтожить последние остатки арабского владычества. Затем открытие Америки и усмирение самостоятельного и неукротимого феодального дворянства, казалось, надолго положило прочную основу государственному могуществу Испании. Вскоре затем, при Карле V, городо-

вые общины, бывшие препоною королевской власти, потеряли свою силу после известного восстания, окончившегося поражением их в битве Вильяларе 23 апреля 1521 года<sup>3</sup>.

Карл V, первый король всей Испании, возвел эту страну на вершину могущества; но вместе с тем обозначаются уже и в то время первоначальные причины ее последующего упадка и постоянно возрастают в страшной постепенности. Мы припомним здесь только самые главные из них, чтоб сделать понятными позднейшие события ее истории.

Благотворные основания испанского государственного права не только не имели никакого дальнейшего развития, но, из преувеличенного опасения всякого противодействия, королевская власть уничтожила все гарантии прежнего общественного устройства. Создания кортесов были совсем прекращены, и они утратили все свое прежнее значение. Вместе с этим исчезновением государственной жизни, открытие Америки бросило нацию в совершенно другое направление. Какого-то особого рода лихорадочная деятельность охватила Испанию. Много героических подвигов вызвала она, но вместе с тем и много самых ужасных варварских дел. Непостижимая жажда обогащения повела за собой многочисленные переселения в Америку, значительно ослабившие Испанию, чему также способствовали многие войны, предпринятые без достаточных причин, неискусно веденные и несчастливо окончившиеся.

Нигде закон христианской любви и милосердия не получил такого странного и сурового извращения, как в Испании, и нигде не служил он предлогом к таким зверским жестокостям и преследованиям. По своей фанатической основе и тиранским формам инквизиция имела самое вредоносное влияние на ум и на жизнь целого народа. Она и ее ослепленные ревнители способствовали к совершенно безумному, несправедливому и жестокому изгнанию мавров из Испании. Через это в сильнейшей степени уменьшилось и народонаселение, и образование, и деятельность, а бедность увеличилась до такой степени, что даже и до сих пор видны страшные следы ее.

Все это совпало вместе с другим, беспримерным в истории несчастьем. Ни один из последующих королей Испании, начиная с мрачного Филиппа II, не был сколько-нибудь мудрым, благодетельным властелином. Напротив, их духовная посредственность и ничтожность, можно сказать, увеличивалась с каждым поколением; и кроме того,

не было ни одного великого министра, который бы (как, например, Ришелье во Франции) мог заменить их неспособность. Несколько лучше, да и то в ничтожной степени, были короли ее из дома Бурбонов; при Карле III (от 1739 до 1788) даже были попытки некоторого возрождения. Но, несмотря на трехвековое, жалкое, сонное, постоянно угнетавшее управление, в народе сохранились еще и жизненная сила и мужество к настоящему обновлению.

Между тем, внутри самого государства держались взаимно враждебные провинциальные разделения: Бискайские провинции, по происхождению своему, языку, нравам и учреждениям, отделялись от прочей Испании; Астурия и Галиция напоминали собою средневековое состояние; арагонец гордился своими прежними политическими правами и ни в чем не хотел равняться с кастильянцем; Каталония пробовала несколько раз приобрести самостоятельность; в Валенсии, Гренаде, Кордове и вообще в Андалузии живы были следы восточного влияния. Всюду господствовала любовь не только к старинным, давностью освященным учреждениям, но вместе с нею и к сохранению всех укоренившихся вредных обычаев; на всякое нововведение народ смотрел с недоверчивостию и враждебностию. И, однако ж, в продолжение этих темных времен своей истории испанцы сохранили свое врожденное верное чувство всего великого и благородного. Как ни трудно иностранцам сохранять беспристрастие при обсуждении такого совершенно особенного народного характера, но тем не менее почти все они согласны в том, что испанец полон преданности и верности в своем расположении, — горяч и страстен в ненависти, — терпелив, честен, надежен, умерен, одарен самым живым воображением и самым щекотливым чувством чести.

Все эти различные явления исторической жизни испанского народа отражаются в «Письмах» г. Боткина и придают особенную ясность его взгляду на характер и нравы народа, особенный интерес его очеркам.

До г. Боткина у нас так мало было писано об Испании, что большая часть русских читателей воображали эту страну каким-то громадным цветником, расширяя на весь полуостров тот благоухающий сад, который цвел под балконом Лауры:

Приди, открой балкон. Как небо тихо!  
Недвижим теплый воздух; ночь лимоном  
И лавром пахнет...

(«Каменный гость».)

На самом деле Испания вовсе не такова. Ее природа скорее напоминает Африку, нежели Европу: степь, выжженная солнцем, угрюмая, грозная степь, среди которой рассеяны дивно роскошные оазисы, поражающие не столько своею грациозностью, сколько величием. Только очень немногие местности, как Гренада, вполне грациозны, — общий характер страны — величие, часто отзывающееся печально-страстным характером. Г. Боткин мастер изображать природу, потому что умеет сочувствовать ей, любить ее.

«Красота Испании давно вошла в пословицу (говорит он); с давних пор поэты воспевают ее апельсиновые и лимонные рощи... увы! Это одно из заблуждений, существующих насчет Испании. Впрочем, может статься, за несколько сот лет оно было и иначе, теперь же ничего нельзя себе представить унылее этой природы. Но унылость эта необыкновенно величавая. Представьте себе, что нигде не встречаешь дерева, по окраинам полей одни только кусты розмарина; изредка маленькие деревни, без зелени, выкрашенные темно-глинистою краскою, — и деревни эти так редки, что, встречая одну, давно забыл уже о предшествовавшей. Глаза свободно пробегают пространство в 8, 10 верст, не встречая на нем ни одного жилья, ни одной малейшей рощицы олив, ничего, кроме душистых кустов розмарина; все это обьято самою прозрачною, чистейшею атмосферой. Вероятно, на этой почве могли бы расти и дуб, и липа, и каштан; в Испании богатство лежит у ног человека, — стоит только наклониться за ним; но испанцы еще не любят наклоняться».

Таково было впечатление, произведенное на него равнинами Кастилии. Проехав с севера на юг почти всю Испанию, из Севильи — этого города, который мы привыкли было воображать потонувшим среди бесконечных лимонных и апельсиновых рощ, он пишет:

«Находясь в самом сердце Андалузии, могу, наконец, положительно сказать: красота испанской природы, о которой столько наговорили нам поэты, есть не более, как предрассудок. Я разумею здесь красоту природы в том смысле, как представляют ее себе видевшие Италию. Правда, на юге Испании растительность так величава и могущественна, что перед ней растительность самой Сицилии кажется северною, но это только редкими местами; африканское солнце, так сказать, насквозь прожигает эту землю; в Алмерии, например, уже три года как не было дождя, и жители южных берегов Испании беспрестанно переселяются во французские владения Африки. Здесь часто случается, что на три мили в окружности невозможно найти воды. Не думайте, однако ж, чтоб эта пламенная природа не имела своей особенной, только ей одной свойственной красоты. Она здесь не разлита всюду, как в Италии; в ней нет мягких, ласкающих итальянских форм: здесь она или уныла и дика, или поражает своею тропическою, величавою роскошью. По дороге из Кордовы в Севилью, например, возле иного cortijo \* нет ничего, кроме одинокого

---

\* Так называются здесь маленькие фермы (дворики).

апельсинного дерева; но надобно видеть, что это за могучий ствол и как широко раскинулось оно своими густыми ветвями: апельсинные деревья Сицилии покажутся перед ним не более, как отростками. Здесь каждую минуту чувствуешь, что имеешь под ногами огненную землю, не любящую золотой середины, на которой или корчится от зноя всякое растение, или там, где влага удастся охладить жгучие лучи солнца, растительность вырывается на воздух с такою полнотою красоты и силы, с такою роскошью, что здесь, особенно в горах, эти чудные оазисы среди каменистых пустынь производят совершенно особенное, электрическое впечатление, о котором не может дать понятия кроткая и ровная красота Италии. Здесь и пустыня (*despoblado*), и голые, рдеющие на солнце скалы, и растительность дышат какою-то сосредоточенной, пламенной энергией».

Одно только из наших обыкновенных мнений о характере испанской природы вполне подтверждается г. Боткиным, — мнение о дивной чистоте ее атмосферы, об ослепительности солнечного блеска, почти непрерывно озаряющего горы и долины Пиренейского полуострова. Там, где горизонт стеснен громадными, скалистыми горами, — а большая часть Испании прорезывается горными хребтами, — тропическое солнце придает новую чудную энергию пейзажу яркими тонами, в которые одеваются горы под его блеском.

«Для меня, жителя северных равнин, южные горы имеют какую-то необъяснимую прелесть; глаза, привыкнув с младенчества свободно уходить в смутную даль, ограниченную темною и мертвою линиею горизонта, с какою-то ненасытною негою блуждают по этим высотам, на которые каждый час дня кладет свои особенные тоны колорита. В равнинах — природа только на первом плане, так сказать, у ног; дальше — одно небо и пустое пространство, которое невольно склоняет к задумчивости и грусти: отсюда, вероятно, и склонность к мечтательности в жителях равнин. В горах надо проститься с этой туманной беспридельностью: глаза всюду встречают не однообразную, серую даль, а яркие переливы зелени, или утесы и скалы, которым солнце и воздух сообщают нежные радужные цвета. Я думаю даже, что живописец, живущий в равнинах, едва ли будет хорошим колористом: только в горах можно понять все очарование солнца и тени и радужную их игру. Утром горы лежат в сине, чуть прозрачном тумане, сквозь который едва отделяются их очертания; облака, застигнутые на отлогостях и в ущельях затишьем вечера, ранним утром розовые, потихоньку встают и уходят; постепенно, как солнце возвышается, туман становится прозрачнее и голубее; вот начинают обозначаться зеленые отлогости, красноватые скалы, темные ущелья. В этой воздушной, радужной игре цветов и лучей есть что-то музыкальное; не живопись — перед этими красками все наши краски кажутся грязью, — а симфония, сыгранная оркестром, может только дать понятие об этом чудном разнообразии и гармоническом сочетании цветных тонов. Как смелы, резки и вместе нежны эти переходы! Каждая неровность, каждый уступ кладут свои оттенки, которые беспрестанно меняются с движением солнца, пробегающие тени облаков еще более разнообразят эту игру света. В полдень туман исчезает, оставив по себе лишь прозрачный голубой пар, в котором чувствуется что-то знойное и сонное.



Есть в полдние минута, когда солнце стоит на самой высоте горизонта и лучи его падают перпендикулярно: яркость их так сильна, что все разнообразие горных тонов исчезает, утопая в свете; горы теряют свою массивность и становятся воздушными, словно прозрачными: в эти минуты они принимают какой-то идеальный вид.

Чем ниже опускается солнце, тем становится золотистее светло-голубой эфир, облегающий горы: снова начинает выступать разнообразие цветных тонов. Но косвенные лучи солнца уже изменили прежнее расположение их: зелень, скалы и ущелья начинают выступать с новыми оттенками. Постепенно исчезает золотистый пар, раскрывая горы во всей их осязательной массивности. Радужная дымка, лежавшая на них с самого утра, совершенно исчезла: теперь картина гор начинает походить на заключительные, восходящие аккорды симфонии. В эти минуты чувствуешь, что то же очарование, которое для ушей лежит в звуках, для глаз заключается в цветах. Вот горы покрылись золотисто-палевым цветом; но скоро начинают пробегать по ним легкие, лиловые тоны, и все сильнее, и все гуще, и через минуту горы облиты лиловым сиянием; как нежатым, утомленным яркостью прежних цветов, глаза на этом мягком, ласкающем цвете, с каким-то задушевым стремлением хочешь подолее насмотреться на него! но все больше и больше рдеют лиловые горы, и мгновенно разливается по ним яркий огненный пурпур; с минуту стоят они словно облитые красным пламенем... нет сил смотреть на этот ослепительный блеск... он слабеет уже, — это заключительный аккорд горной симфонии. Последние кровавые лучи заката едва на мгновение обольют еще горы алым светом, как уже низовые отлогости их тонут в сером ночном тумане; солнце скрылось, и только легкое розовое мерцание догорает кой-где на высоких вершинах.

И каждый день с ненасытной ногою смотрю я на горы, и каждый день все мне кажется, что только сейчас увидел их. Сколько раз благословляя я судьбу за то, что я родился и вырос в стране равнин и унылой природы, а не на юге: тогда бы мои глаза давно привыкли к горным красотам южной природы и не ощущали бы этого наслаждения, сердце не билось бы этим блаженством; я не чувствовал бы тогда во всем существе своем этой неги, которая проникает мой организм среди южной природы».

Как в Африке, в Испании — где нет обильной воды, там величественная пустыня, где есть вода — там чудная сила растительности; и где почва орошается ручьями — только там действительно вся местность превращается в исполинский цветник. Немного таких мест — зато они очаровательны, и самое очаровательное из них Гренада:

«В жизнь мою не забуду того впечатления, какое испытал я, когда на другой день после моего приезда сюда пошел я по Гренаде. Представьте себе, в продолжение пяти месяцев привыкнув видеть около себя природу суровую, почти всюду сожженную солнцем, небо постоянно яркое и знойное, не находя места, где бы прохладиться от жару — вдруг неожиданно найти город, утонувший в густой, свежей зелени садов, где на каждом шагу бегут ручьи и разносится прохлада... нет! это можно оценить только здесь, под этим африканским солнцем. По городу только и слышался шум воды и журчанье фонтанов в садах. Здесь первая комната в каждом доме — сад. Часто попадаются садики снаружи, обнесенные железными решетчатыми заборами и наполненные густыми кустами



цветов, над которыми блещут струйки фонтанов; цветы и на террасах и на балконах \*; а когда я подошел к холму Альгамбры, до самого верху покрытому густою рощею, я не умею передать этого ощущения. Три дня горной дороги верхом, под этим знойным солнцем, просто сожгли меня; голова моя и все тело горели. Передо мной было море самой свежей зелени; прохлада, отрадная прохлада охватила меня. Лучи солнца не проникали сквозь гущу листьев; ручьи журчали со всех сторон; по дорожкам фонтаны били самую чистую, холодную водою. Чем выше я поднимался, тем прохладнее становилась тень. Никогда я не видал такого разнообразия, такой свежести зелени! Дикий виноград обвивался около дубов, олеандр сплетался с северным серебристым тополем, из плакучей ивы весело торчали ветви душистого лавра, гранаты возле вязов, алоэ возле лип и каштанов — всюду смешивалась растительность юга и севера. Вот климат Гренады и вот одно из ее очарований: это зной и лед, зной и прохлада, и чем жар жгучее, тем сильнее тает снег на Сиерре, и тем стремительнее бегут ручьи и фонтаны. Это слияние воды и огня делает климат Гренады единственным в мире. Прибавьте к этому, что если ветер со стороны Сиерры Невады, то, несмотря на весь зной и лед, воздух наполнен прохладой. В этих густых аллеях редко кого встречаешь — самая пустынная тишина; но все вокруг журчит и шелестит, словно роща живет и дышит. Местами стоят скалы, покрытые зеленым мхом; по иным тоненькими сверкающими ленточками бегут ключи. Это не походит ни на какой сад в Европе, — это задумчивость севера, слитая с влажною, сверкающею красотою юга. Я лег на прохладный мох первого попавшегося камня и долго лежал, вслушиваясь в журчанье ручьев, словно в какие-то неясные, но сладкие душе мелодии».

Нетрудно решить, от самых ли условий климата и местности зависит унылый и пустынный характер природы в нынешней Испании, или виноват в том народ, населяющий эту страну. Земля, еще не заселенная людьми, может иметь цветущий вид, — она может быть покрыта девственными лесами, роскошными лугами и пажитями. Но как скоро человек овладевает странюю, это первобытное состояние природы уничтожается его потребностями, — он сжигает и вырубает леса, и как скоро население становится многочисленным, самые поля лишаются той чистой растительности, которою очаровывали прежде, почва теряет влажность с истреблением лесов и обнажается или зарастает печальными и уродливыми травами, вроде полыни, репейника, бурьяна. Только неустомимое трудолюбие человека может сообщить природе новую, высшую красоту взамен дикой, первобытной красоты, неудержимо исчеза-

---

\* Нигде я не видал такой страсти к цветам, как в Гренаде. Кроме того, что каждая женщина непременно носит в волосах свежие цветы, здесь даже принадлежит к хорошему тону по праздникам выходить из дому с хорошим букетом в руках и дарить из него по несколько цветов встречающимся знакомым дамам. По праздникам бочонки продавцов воды обвиты виноградными ветвями, а те, которые возят их на осле, даже и ослов упряжут виноградом.

ющей под его ногами. Человек должен ухаживать за лесами, стеречь их, чтобы сохранить от истребления часть их, нужную для его материальных потребностей и эстетического наслаждения, должен заменить садами другую часть; он должен одеть землю нивами и искусственными лугами взамен не выносящих его прикосновения первобытных трав. Где является человек, там природа должна воссоздаваться трудом человека. Народ вносит запустение и одичалость в свою страну, если не вносит в нее культуры. И если вы видите печальной, унылой страну, имеющую оседлое население, не вините в том природу страны, — нет, знайте, что народ, ее населяющий, не хочет или не может трудиться. Природа, конечно, гораздо беднее запасами красоты в Голландии, Гольштинии, нежели в какой бы то ни было другой европейской стране, — и, однако же, Голландия и Гольштиния радуют глаз своими цветущими полями и веселыми рощами. Есть страны, в которых не может жить оседлое население, — за их красоту не отвечает человек. Но где есть возможность провести воду, — где живут земледельцы, там унылость страны свидетельствует только, что народ не может или не хочет жить в своей стране так, как должен жить счастливый народ, — не может или не хочет трудиться.

Мы сказали: «не может или не хочет» — второе из этих слов совершенно излишнее. Не хочет трудиться только тот, кто не имеет возможности трудиться в благоприятных для труда условиях. Не знаем, можно ли считать леность естественным пороком даже у немногих отдельных лиц: обыкновенно, стоит только всмотреться ближе в историю ленивца, и мы убедимся, что не природа создала его ленивцем, а обстоятельства отняли у него охоту работать. Но если поверхностные наблюдатели могут еще думать, что иные отдельные люди от природы расположены к лености, то совершенно нелепо и ненатурально воображать, чтоб целый народ мог иметь по природе особенное влечение к этому пороку. Нет, человек по природе своей находит наслаждение в труде, имеет естественную потребность работы, томится тоскою, если не работает, если бездействие не есть только отдых после работы, отдых, вызывающий на новую работу с свежими силами. Когда вы видите целое население целого округа, обезображенное кретинизмом или колтуном, вы не говорите, что по своей натуре оно должно быть уродливо, — вы приписываете его физическую болезненность неблагоприятному влиянию местных физических условий его жизни. Точно так же, когда

вы видите целое племя, предавшееся тому или другому пороку, не говорите, что в натуре самого племени лежит этот порок: он развился наперекор натуре, вследствие неблагоприятных обстоятельств. Переселенные в чистую атмосферу, кретины становятся здоровы, во втором или третьем поколении становятся и красивы не менее других счастливых племен. Точно так же ленивый, пьяный, буйный ирландец, переселившись в Северную Америку, где труд его вознаграждается, становится деятельным и трезвым человеком с благородными манерами.

Есть избитая фраза: «южные народы ленивы; знойный климат расслабляет их энергию» — это избитая фраза, и больше ничего. Пороки и добродетели не принадлежат исключительно тому или другому земному поясу; — между бурятами или самоедами сластолюбие не менее сильно, нежели между жителями Отаити, и страсть к наркотическим средствам везде одинаково сильна, — мало разницы в том, опьяняется ли человек грибом-мухомором, или пенником, или опиумом, или настоем того корня, которым угощали Кука жители Сандвичевых островов. Подобно разврату, подобно страсти к затемнению рассудка наркотическими средствами, и леность развивается не вследствие климатического влияния, а вследствие исторических отношений, и, подобно тем порокам, исчезает с переменою обстоятельств народной жизни. Во времена Цезаря и Тацита германцы, британцы, галлы были отчаяннейшими лентяями, ничуть не хуже нынешних киргизов или тухменцев<sup>4</sup>. Римляне, конечно, не ленились пахать в те времена, когда Регул сам обрабатывал свое маленькое поле. Все привычки народа зависят от обстоятельств его жизни.

Теперь испанцы ленивы. Но г. Боткин замечает, что трудно найти в мире такого хорошего работника, как испанец, когда испанец, наконец, принимается за работу. Почему же он так редко считает нужным приниматься за работу? — Ему нужно очень немного, говорит г. Боткин: потребности испанца очень ограничены и очень легко удовлетворяются в его теплом климате, при чрезвычайном плодородии земли. Это совершенно справедливо. Но есть и другая причина, которую также указывает г. Боткин: праздность считается в Испании гораздо почетнейшим препровождением жизни, нежели труд, так что бедный кавальеро скорее пойдет в лакеи, нежели займется каким-нибудь ремеслом, — будучи лакеем, он сохраняет свое почетное право — ровно ничего не делать. В Испании действительно можно часто встретить слугу, который гордит-

ся древностью и высоким благородством своей фамилии и гордится основательно, потому что имеет в руках генеалогические пергаменты. Само собою разумеется, каково служат эти лакеи, — вот случай, свидетельствующий о том, как успешно они отстаивают свою привилегию — ничего не делать:

«Недавно в Гренаде я был свидетелем презабавной сцены. У меня здесь есть знакомый француз, химик и дагеротипист. На днях прихожу я к нему; он держал в руке письмо и звал своего слугу, чтобы послать его отнестись письму по адресу. Слуга только что воротился из аптеки, куда ходил за каким-то химическим составом. Он вошел в комнату, жалуясь на жар, важно посмотрел на француза и решительно объявил, что он теперь не может идти, потому что очень жарко.

— Но мне надо непременно послать это письмо! — кричал разгорячившийся француз. — Ваша милость разговаривает, как какой-нибудь идалго. Уж лучше бы вашей милости оставаться при своих дипломах.

— А ваша милость думает, что у меня нет дипломов? — возразил очень спокойно слуга: — есть, да еще такие, каких нет у вашей милости.

— Так зачем же ваша милость пошли в слуги?

— Зачем? затем, чтоб не работать, *para no trabajar*».

Не должно дивиться этому понятию «благороднее быть ничем не делающим лакеем, нежели трудящимся ремесленником или купцом» — совершенно подобные явления мы встречаем и в других странах, — например, в наших западных губерниях очень многие шляхтичи служат теперь лакеями, как прежде, во времена польской независимости, служили паразитами у магнатов, с радостью подвергаясь всяким проделкам со стороны своих патронов, лишь бы только есть даровой хлеб. И если мы вспомним историю, мы увидим, что эти странные понятия — естественное следствие исторических отношений народа. Семьсот лет испанцы вели непрерывную борьбу с маврами, — все энергические люди целой нации посвящали свои силы исключительно войне, снискивали себе и средства для жизни и почетное имя в обществе мечом, а не мирными промыслами, которые доставались в удел только людям, не имевшим смелости духа, и потому естественно должны были не пользоваться особенным уважением. Войны прекратились, но старое презрение к робкому труду осталось в умах.

Есть и третья причина этого явления, которая также не ускользнула от внимания г. Боткина. Эта причина, быть может, важнейшая из всех, — долговременное отсутствие хорошего управления в стране. Сами испанцы, по словам г. Боткина, говорят о своем управлении таким образом. Сан-Яго, национальный святой Испании, по кончине своей,

предстал пред богом, который, за святость его земной жизни, обещал угоднику исполнить все, чего ни попросит он. «Сан-Яго просит, чтобы бог даровал Испании плодотворное солнце, изобилие во всем.— Будет, был ответ.— Храбрость и мужество народу, продолжал Сан-Яго, славу его оружию.— Будет, был ответ.— Хорошее и мудрое правительство.— Это невозможно: если ко всему этому в Испании будет еще хорошее правительство, то все ангелы уйдут из рая в Испанию».

Трудолюбивые привычки могут развиваться или сохраниться в народе только при хорошем управлении, которое обеспечивает каждому неприкосновенность собственности, приобретаемой его трудом, и ограждает его труд от препятствий и обременений, каким он подвергается, как скоро является произвол с беспорядками и злоупотреблениями, необходимыми своими спутниками. Ирландец в своей родине старается работать как можно меньше, потому что все выработанное должен будет отдать за наем земли,— испанец также не видит,— или, по крайней мере, до недавнего времени не видел пользы для себя в трудолюбии, потому что не был обеспечен от грабительств.

Не будем много говорить о страшной неурядице, господствовавшей в Испании со времен Филиппа II,— эта плачевная история, продолжавшаяся около трехсот лет, вся передается одним словом: произвол, безграничный и вместе бессильный произвол тяготел над несчастною странюю во все течение этого долгого периода. Мы много начитались в газетах о беспорядках и злоупотреблениях, о грабежах и разорениях, которым подвергалась Испания с того времени, как появились имена хрисиносков и карлистов<sup>5</sup>, с их бесконечными стычками, контрибуциями, расстреливаниями и т. д., и т. д.; — вся эта неурядица, как ни страшна и ни нелепа она, однако же далеко не так произвольна, бестолкова и гибельна, как порядок, или, вернее сказать, беспорядок дел, угнетавший Испанию до той эпохи. Как ни велики бедствия, которыми мучилась эта страна в последние десятилетия,— прежде было в ней нечто еще худшее, еще более тяжкое, которое исключительно виновно и во всех страданиях настоящего.

«Испания полна уныния; народ ее словно находится в том тяжком забытии, какое испытывает человек, долго находясь на морозе. Не в настоящем должно искать причин этим тяжким политическим страданиям; они в прошедшем, они далеко позади. На междоусобную войну в Испании смотрели, как на событие необыкновенное и неожиданное. Но разве эта война не есть результат зол предшествовавших? Это та же самая болезнь,

только вышедшая наружу. И прежде наваррского восстания в Испании была междоусобная война, предпринятая инквизицией против всякой живой, благотворной мысли, против всякого развития человеческих способностей. Настоящее положение Испании есть только преобразование этой внутренней, душевной борьбы в борьбу с оружием в руках, уготованную тремя веками невежественной, фанатической, безнравственной администрации.

Ни новое политическое устройство Испании, ни даже прежнее причину несчастий ее. Правда, инквизиция, монахи были для нее страшным злом; но ведь феодальное устройство Испании было общее с Европою; отчего же оно только на Испании оставило такие губительные следы. Не оттого ли, что в Европе при дурном устройстве было всегда правительство, которое хотя иногда было так же дурно, но всегда более или менее вращалось в кругу идей современной себе цивилизации. В Испании ли в какое время, ни в какой форме не было правительства: был только один произвол со всеми своими заблуждениями и личными страстями; никогда администрация не имела других законов, кроме собственного каприза и своих личных интересов. Так было прежде, то же и теперь. Три века правительственного безумства не прошли даром: тяжко легли они на благородной стране. Мудрено ли, что народ ее теперь равнодушно смотрит на все эти конституции, говоря про себя свое любимое *que importa* (что за нужда). Он знает, что над этими конституциями есть высшая власть — анархия».

При таком положении дел не могла сохраниться в нации привычка трудиться. Кому охота работать, когда плоды трудов истребляются или похищаются?

«Но, могут сказать, если история Испании объясняет развитие привычки к бездействию, к лежанию на боку, то все-таки это объяснение нимало не оправдывает испанцев: разве не сами они довели себя до такого положения, в котором невозможно было им работать?» — И на это опять надобно сказать: все зависит от обстоятельств, — они дают направление жизни целого народа, как и жизни отдельного человека; они столь же часто губят нас посредством наших так называемых добрых качеств, как и посредством наших недостатков, — и, наоборот, столь же часто обращают нам в пользу наши недостатки, как и наши добрые качества. Не судите о нравственных или умственных качествах человека по его счастью или несчастью в жизни, —

Сколькох добрых жизнь поблекла,  
Сколькох низких рок шадит!  
Нет великого Патрокла, —  
Жив презрительный Терсит...

И уцелел Терсит именно потому, что был подл и труслив, — умер Патрокл именно потому, что был благороден и силен душою. Несправедливо вдаваться в крайность и, для противоречия бездушному правилу судить о достоинстве человека или народа по его участи, говорить, что

все прекрасное обречено судьбою на гибель, — нет, прогресс и развитие не пустые слова. Но власть обстоятельств всеильна, и надобно ближе вникать в обстоятельства дела, чтобы судить о том, действительно ли слаб или силен, хорош или дурен страдающий или торжествующий.

Обстоятельства неблагоприятно расположились для Испании; они расположились так, что именно лучшие качества испанского народа обратились во вред ему. Укажем хотя один пример — инквизицию, которая из всех зол, губивших Испанию, была пагубнейшим. Конечно, мы не чувствуем ни малейшего влечения защищать инквизицию или хвалить испанский народ за то, что он имел у себя это учреждение. Но, однако, в чем же состоит сущность дела? В том, что испанцы, по своему глубокому и сильному характеру, серьезно, искренно приняли тот идеал, который был идеалом всех западных европейских народов в средние века. Другие народы, можно сказать, только шутили, забавлялись между дел этим идеалом, не имея ни столько пламенной твердости в характере, ни столько преданности убеждению, чтобы серьезно устремить свои силы на осуществление этого идеала. Испанцы принялись за это дело серьезно, — «и погубили себя», — скажете вы. Так, погубили себя, но осудите ли вы человека, который по ошибке отравил себя и своих друзей ядом, считая этот яд жизненным бальзамом, осудите ли вы его, если он жертвовал своими сокровищами для приобретения этого мнимого жизненного бальзама?

Ослепление у испанцев было общее со всеми западными народами средних веков, — за это нельзя их винить. Они одни действовали совершенно искренно и серьезно, — в этом они были выше других. Они погубили себя, но погубили именно потому, что имели сильный и возвышенный характер.

Мы сказали об инквизиции, страшнейшем из ложных принципов, погубивших Испанию. Вспомните историю средних веков, XVI и XVII столетий, — вы увидите, что точно так же и все остальные ложные принципы, содействовавшие гибели Испании, были общи испанцам с другими тогдашними народами Западной Европы. Заблуждение в убеждениях было одинаково повсюду, — но убеждение было у испанцев искреннее, серьезнее, нежели у какого-нибудь другого народа, — этим они погубили себя, — но за искренность и серьезность упрекать нельзя, и те же самые качества характера, которые обращаются во вред, когда



служат к достижению ложных целей, приносят благо, когда посвящаются на осуществление истинных целей.

Испания доведена была обстоятельствами до состояния самого жалкого; она очень долго не могла избавиться и теперь только начинает избавляться от бедствий, угнетавших ее,— и процесс внутреннего брожения, которым совершается возрождение этого народа, так тяжел и продолжителен, задерживается такими частыми и прискорбными рецидивами, что естественно родится мысль: приведет ли все это брожение к чему-нибудь лучшему, или Испании не суждено оправиться от своего долговременного унижения и страдания? Г. Боткин не колеблется утверждать, что Испанию ожидает лучшая будущность,— и, несмотря на всю видимую беспорядочность в истории последних ее десятилетий, нельзя, действительно, сомневаться в том, что многое стало ныне в этой стране лучше, нежели было за тридцать лет, что успехи развития, еще слишком незначительные сравнительно с тем, что надлежит совершить, уже, однако, не могут назваться ничтожными, и что каково бы ни было настоящее состояние Испании, но эпоха возрождения уже началась для нее. В этом убеждает постепенное распространение просвещения, заметное усиление умственной деятельности в нации, столь долго дремавшей,— всего более убеждают в возможности возрождения качества, сохраненные испанским народом. Он даровит, благороден и тверд духом,— и если он выдержал трехвековое бедствие, не утратив душевных сил, то, конечно, способен возродиться, когда влияние неблагоприятных обстоятельств на его судьбу ослабеет.

Испания была очень надолго задержана в своем развитии,— во многих отношениях даже подалась назад под гнетом обстоятельств, сравнительно с прежней степенью своего развития. Но эти тяжелые обстоятельства не могли, однако, подавить врожденных дарований испанского народа:

«Во многих отношениях Испания столько же принадлежит к средним векам, сколько к нашему времени; многое в ней странно, но не бессмысленно. Она много назади, но далеко не поражена тою нравственною окаменелостью, которая заставляет отчаиваться за будущность народа. Скорее должно дивиться, соображая исключительные, роковые обстоятельства, которые так долго сдерживали политическую жизнь Испании, как она не еще более назади, как еще успела она сохранить в себе эти энергические семена жизни.

Всего более заставляет верить в будущность Испании редкий ум ее народа. Когда имеешь дело с людьми из простого народа, совершенно лишёнными всякого образования, невольно изумляешься их здравому

смыслу, ясному уму, легкости и свободе, с какими они объясняются. В этом отношении они, например, далеко выше французских крестьян. В них нет их грубости, их умственной тяжеловатости. Умственная сфера испанца не велика, но то, что он понимает, он понимает верно; и если воспитание и здравые идеи разовьют их умственные способности, испанцы внесут тогда и в высшие сферы жизни это прямоту, эту отчетливость, которые, кажется, врождены им, и которые теперь прилагаются у них только к самым мелким интересам. Среди этих бесчисленных смут, раздирающих Испанию, чувствуешь какую-то необходимость беспрестанно оглядываться назад, хотя бы для того, чтобы сколько-нибудь облегчить настоящее от ошибок и несчастий, завещанных ему прошедшим, для того, чтоб сохранить веру в народ, который, несмотря на три несчастных века, умел сберечь в себе свои природные качества, столь прекрасные и драгоценные».

Не только живость, здравость ума сохранилась в испанце: вековое унижение и угнетение не могло подавить в нем и удивительного его благородства, доходящего до самой утонченной деликатности. Единственный верный признак невозвратного падения народа — то, когда народ мелок и низок душою, продажен и подл; единственный прочный залог народной будущности — сохранение в народе благородных чувств. В этом отношении испанцы могут гордиться своими правами:

«Испанец прежде всего caballero<sup>7</sup>. Вскоре по приезде моем в Мадрид я отыскивал одну улицу, где мне надобно было сделать визит. Улица была далеко, и я расспрашивал о ней у прохожих. Между прочим, отнесся к одному бедно одетому человеку. «Если хотите, я провожу вас туда», — отвечал он. Мы пошли. Дорогой вздумал я сделать еще несколько визитов и, намереваясь заплатить этому человеку за труд его, просил дожидаться меня на улице. Визиты мои продолжались часа три: возжатый мой говорит мне, наконец, что он не может более оставаться со мною. Я подаю ему дуро (5 руб. асс[игнациями]), благодаря его за одолжение. «No, señor, no muchísimas gracias». (Нет, сударь, нет, покорнейше благодарю.) — «Но почему же вы не хотите получить за ваши труды, я отнял у вас время...» — «No, señor, gracias, soy pobre, pero soy caballero». (Нет, сударь, благодарю — я беден, но я кавалер), — и, раскланиваясь, кастильянец ушел от меня, оставив меня в замешательстве и с деньгами в руке. Никогда не случалось мне, давая за труды прислуге, встретить недовольную мину. Если слуга испанский очень доволен, это выражается только тем, что он прибавит к своему обычному «gracias» (благодарю), «gracias, caballero» (благодарю, кавалер). Вообще чувство личного достоинства в этом народе поразительно; недаром существует у него пословица: король может делать дворянами, один бог делает кавалерами».

Разделение народа на враждебные касты бывает одним из сильнейших препятствий улучшению его будущности, — в Испании нет этого пагубного разделения, нет непримиримой вражды между сословиями, из которых каждое было бы готово пожертвовать самыми драгоценными историческими приобретениями, лишь бы только

нанести вред другому сословию, — в Испании вся нация чувствует себя одним целым. Эта особенность так необычайна среди народов Западной Европы, что заслуживает величайшего внимания, и уже одна, сама по себе, может считаться ручательством за счастливую будущность страны.

«При наружности, почти совершенно сходной со всеми неограниченными монархиями, Испания на самом деле имела историческое развитие, совершенно различное от остальной Европы; кроме того, элементы, из которых сложилось испанское общество, и по началу своему и по направлениям, совершенно различны от тех, которые лежат в основе прочих европейских государств. Посмотрите, например, на положение и значение дворянства испанского. Во Франции — стране равенства, народ враждебно смотрит на дворянство и аристократию; в Испании, где чувство равенства гораздо сильнее, аристократия не только не возбуждает против себя ни ненависти, ни зависти, но пользуется в народе уважением. Мне кажется это обстоятельство довольно любопытным, и я, имея теперь под рукою некоторые материалы, хочу воспользоваться ими, чтоб сказать несколько слов о дворянстве в Испании и об отношении его к народу. Мне кажется, что, уяснив себе эти отношения, мы будем лучше понимать современные события Испании и еще более извиним народ ее за его равнодушие к ним.

После падения Римской империи (простите, что я начинаю так издаleckа) вся Европа была завоевана и занята варварами, племя победившее и племя побежденное поселились на одной и той же земле, одни как властители, другие как вассалы. Ведь история Франции и Англии есть ничто другое, как постепенное освобождение племени завоеванного. Казалось бы, что французская революция, провозгласив политическое, гражданское и религиозное равенство, должна была заглушить самое воспоминание о прежней взаимной борьбе и ненависти; но такова глубина этой ненависти, что она пережила даже и самую причину ссоры.

В Испании не найдете вы ничего подобного; здесь дворянин не горд и не спесив, простолюдин к нему не завистлив; между ними одно только различие — богатство, и нет никакого другого. Здесь между сословиями царствует совершенное равенство тона и самая деликатная короткость обращения, и не только гражданин, но мужик, чернорабочий, водонос обращаются с дворянином совершенно на равной ноге. Если им открыт вход в дом испанского гранда, они пойдут туда, придут, сядут и говорят с своим благородным хозяином в тоне совершеннейшего равенства. Причина таких удивительных для нас отношений должна заключаться в самой истории Испании, и именно в том, что в Испании никогда не было плебейства, простолюдинства, что испанский мужик не принадлежит к племени завоеванному, а дворяне к племени завоевательному. Новая Испания началась с изгнания мавров; только с этого времени здесь ведут свое начало права на владение землею. Но самое это изгнание показывает, что в Испании остались одни только победители. Известно, как после завоевания маврами всей Испании горсть смелых и непреклонных людей, укрепившихся в горах Астурии, сделалась впоследствии спасителем и знаменосцем национальной независимости. По мере того, как силы их увеличивались, завоевали они постепенно провинции Леон, Кастилья, Арагон, оттесняя мавров далее и далее, и наконец взятие Гренады уничтожило политическое значение мавров в Испании. Быть низкого происхождения, по понятиям испанца, значило иметь в своих жилах кровь арабскую, кровь племени вдвойне презираемого, как неверное и как по-

бежденное. По той же самой причине дворянство испанца состоит прежде всего в том, чтоб быть старинным христианином; и это одно достоинство старинного христианина, — если его считает за своим родом самый последний носильщик, он гордится им, и в глазах его оно равняет его с самыми важными лицами в государстве. Между владениями *aquadores* (владельцами), которые все почти из Астурии, много дворян; они знают это и величаются своим происхождением. *Jo soy mejor que mi amo* (я больше дворянин, я благороднее моего хозяина), говорит *aquador*, приняв гордый вид и держа свое ведро воды на плече. И действительно, самые старые и благородные фамилии стараются отыскивать начало своих родов преимущественно в Астурии. А так как в прочих провинциях все равно участвовали в изгнании арабов, то всякий гордится на свой манер, и все обращаются между собой на равной ноге, потому что, повторю, самое великое и главное событие испанской истории есть борьба против исламизма; от нее ведут начало свое и собственность и дворянство.

Причина того всеобщего уважения, которым всегда пользовалось в народе дворянство, заключалась в том, что предки его были первоначальными освободителями Испании от ига арабов. Тогда как народ занимался земледелием, дворянство билось с неверными и расширяло границы испанского христианства. Отсюда происходит почтение, оказываемое ему народом, но опять в этом почтении не было ничего подданнического, именно потому что между дворянином и самым последним мужиком здесь не лежала бездна завоевания, как в остальной Европе, а только одна различная степень деятельности и храбрости. Теперь несколько слов о владениях дворянства.

Короли Кастильи и Арагона обыкновенно награждали за услуги, оказанные им в войнах против арабов, частью завоеванных земель. Иногда эти маленькие владетели, имея деньги, прикупали себе новые участки; случалось также, что иной *caballero* строил себе крепость вблизи арабской границы и держался в ней с своим гарнизоном; крестьяне приходили селиться под защитой крепости, и когда испанская граница распространялась дальше, владетель крепости естественно становился и владетелем земли, которую он долго покровительствовал и защищал от нападений арабов. Таким образом владения дворянства в источнике своем, как видите, ничего не имели ненавистного для народа. Майоратство<sup>8</sup>, учреждение чисто феодальное, беспрестанно сосредоточивало и без того значительные владения в одних лицах, которые чрез это становились по могуществу своему почти независимыми от короля, — так что теперь, при всем своем жалком состоянии, при всей разоренности своей, дворянство испанское, после уничтожения монастырей и конфискации их имений, составляет в Испании класс самых больших владетелей и имеет в своих руках самые лучшие земли.

Но по этой же самой причине, по феодальной значительности своей, дворянство испанское никогда не было в милости у королей. Во многих случаях, когда тяжкие войны истощали денежные средства королей, они принимались поверять дарственные грамоты своих предшественников, по которым дворянство владело землями, и если эти грамоты оказывались неточными (а в этом случае придирались ко всему), их объявляли недействительными, и отобранные имения поступали снова в королевскую казну. Но совершенный упадок испанского дворянства начался со вступления на испанский престол Бурбонов. Когда, по интригам Людовика XIV, слабоумный Карл II, распорядившись Испаниею, как своею частною собственностью, завещал ее внуку Людовика XIV, дворянство испанское было против этого завещания и держало сторону австрийского дома. Этого Бурбоны, разумеется, не забывали, и с тех пор прекратилось политическое значение дворянства в Испании. Бурбоны, кроме упомя-

нутых поверок прежних дарственных грамот, постоянно держали дворянство вдали от правительства. С тех пор не встречается уже в истории Испании ни одного из старых дворянских имен, знаменитых при прежней испанской монархии; вместо их являются на сцену иностранцы, дворянство второстепенное или вовсе новое.

Удаленная от правительства, аристократия испанская, наконец, постепенно утратила и свои предания и способности. Дети ее, владея, подобно английской аристократии, огромными состояниями, но не имея перед собою никакого поприща для политической деятельности, совершенно пренебрегали всяким основательным образованием и наконец даже в Испании отличались своим невежеством; забавы, беспутство и расточительность были их единственным занятием. Следствием этого сделалось то, что дворянство испанское стало еще беднее. Большая часть знатных фамилий обременена долгами: и как большие землевладельцы, они чрезвычайно пострадали в войну за независимость, с 1808 по 1814 год, а уничтожение майоратства теперь нанесло последний удар и их значению больших земельных владетелей.

Я говорил выше о равенстве тона и обращения, которое установила здесь между дворянством и народом одинаковость племени; но если от отношений чисто нравственных перейдем к интересам положительным, материальным, к отношениям землевладельца и наемщика земли, то еще становится понятнее, как это национальное единство, выработанное в Испании своеобразным историческим развитием, имело влияние не на одну только всеобщую вежливость обращения, но и на собственность, — этот общий источник всех политических ссор, — так что и собственность здесь носит на себе глубокие следы этого уродливого равенства.

Дворянство исстари чрезвычайно кротко обращалось с наемщиками своих земель; есть крестьянские семейства, которые в продолжение 200 и 300 лет имеют в найме ту же землю, так что давность этих отношений придала им особенный семейный характер. Кроме того, большие земельные собственности владельца, продолжительность и прочность, которую майоратство вводило во взаимные интересы, часто позволяли собственнику отсрочивать плату за наем, что почти невозможно в тех странах, где дробность и беспрестанное движение собственности заставляет всякого скорее самому искать кредита, нежели давать его. Самые законы особенно покровительствовали наемщика. Хотя здесь в каждой провинции свои обычаи и законы, и можно их изучать только на местах, но есть из них некоторые, общие всем средним и южным провинциям и которые особенно замечательны. Например, если наемщик дурно платит, то владелец не может принуждать его к исправнейшему платежу; если он вовсе не платит, владелец может отказать ему, но должен предупредить его об этом за год вперед, в иных провинциях за два года. Если другой наемщик предлагает владельцу дороже, прежний, давши такую же цену, имеет право остаться, даже против воли владельца. В Андалузии и Эстремадуре наемщик может, несмотря на заключенное условие, требовать после жатвы переценки земли; а так как оценщики всегда берутся из класса земледельцев, то наемщик никогда не останется в накладе от переценки. Вы видите, что если здесь кто и терпит, то уже вовсе не крестьянин. Кроме этого здесь еще существует следующего рода наем: землевладелец уступает свою землю на условии ежегодной и раз навсегда определенной платы; и с сей минуты наемщик, платя исправно условную сумму, пользуется землею, как своею полною и неограниченною собственностью; он может на ней строить, садить, — удесятерять ценность земли: владелец никогда не смеет требовать с него ничего больше условной платы. Упадок ценности в деньгах нисколько не изменяет силу раз навсегда сделанного условия, так что есть много семейств, владеющих

значительным количеством земли за самую, по теперешним ценам, ничтожную плату.

После всего этого можно ли опасаться здесь таких народных движений, какие несколько раз потрясали Германию, Англию, Францию? Можно ли бояться извержений народного волкана в стране, где у самого беднейшего мужика есть всегда вдоволь хлеба, вина и солнца и где даже у нищего есть на зиму и шерстяные штаны и шерстяной плащ! Вот почему здесь народ так равнодушно смотрит на политические события. Как нация он без всякого сомнения бесконечно выиграет от возрождения Испании, но собственнно как народ, в своих отношениях к дворянству, к среднему сословию — ясно, что не он именно здесь особенно нуждается в освобождении. Если здесь что действительно страдает, так это интересы среднего сословия — просвещение, торговля, промышленность...»

Наслышавшись о серенадах, шелковых лестницах и, особенно наслушавшись «Дон Жуана», мы часто воображаем себе Испанию страной распущенных нравов, цинизма, разврата, — на самом деле это вовсе не так. Свобода нравов действительно велика в Испании, страсти действительно пылки, но там не знают холодного, продажного разврата, который один точит нравственные силы народа. Теперь мы настолько знаем Восток, что не верим в нравственность, охраняемую гаремами и евнухами. Сравнивая различные цивилизованные нации, мы видим, что именно те страны, где наиболее допускается свобода нравов, отличаются наибольшею чистотою нравственности, — в пример довольно указать на Северо-Американские Штаты. После этого мы легко поверим, что Испания есть одна из тех стран, где отношения между мужчинами и женщинами наиболее чисты. Любовь и поэзия неразлучны в Испании, а где поэзия, там не может быть разврата; и Севилья, знаменитая своими серенадами, в нравственном отношении стоит, без всякого сомнения, выше, нежели большие города чопорных и лицемерных северных стран. Описание сеvilьских нравов — одно из лучших мест в книге г. Боткина:

«По вечерам с 8 и 9 часов нач. няется гулянье на alameda del Duque. На юге нет наших долгих сумерек: ночь наступает тотчас по заходе солнца. Alameda del Duque<sup>3</sup> — небольшая площадь, обсаженная высокими, густыми акациями и освещенная множеством фонарей; по обеим сторонам сделаны скамьи. среди огромный фонтан широкий, рассыпающимся букетом бросающий воду и постоянно освежающий удручающе-теплый воздух. Около площади расположены кофейные, лавочки с холодной водою, лимонадом. Alameda del Duque — царство черных севильянок. Не ужасно ли, что эта поэтическая красота не показывается при дневном свете, а бывает видима только по ночам. К счастью для меня, теперь стоят яркие, лунные ночи. Что за живые разговоры, что за откровенный смех раздаются на этом гулянье! О свободе, царствующей здесь, в Европе не имеют понятия: здесь словно каждый у себя дома. Эта



непринужденность, этот громкий смех, эта живость разговоров, как все это не походит на европейские гулянья, а тем менее на наши, на которые мужчины и женщины выходят с такими патяннутыми, заученными лицами и манерами. Но что особенно замечательно — эта непринужденность, эта свобода проникнуты здесь самою изящною вежливостью; это не заученная, не условная вежливость, принадлежащая в Европе одному только хорошему воспитанию, а, так сказать, врожденная; вежливость и деликатность чувства, а не одних внешних форм, как у нас, и которая здесь равно принадлежит и гранду и простолыдину. Испанец вежлив не из приличия, не с одними только порядочно одетыми людьми, — в этом отношении здесь одежда не значит ничего, — он равно вежлив со всеми, и денди здесь не стыдится поклониться одетому в плащ с заплатами, или сказать, что он *знаком* вон с тем лавочником. У женщин, в живости разговора, иногда мантилья спадет с головы; эти мурийевские головки с пардом или жасмином в великолепных волосах, освещенные луною, производят впечатление обаятельное; ночной запах цветов, особенно нарда, страшно раздражает нервы: надобно быть здесь, среди этой жаркой ночи, освежаемой фонтаном, ходить между этими толпами золотистобледных женщин, одинаково одетых в черное, одинаково покрытых черными кружевными мантильями, видеть эту яркую живость физиономий, этот африканский блеск глаз, сверкающих из-за веера, наконец, дышать воздухом, напоенным пардом и жасмином из этих волос, — словом, надобно испытать одну такую почку, чтоб понять все очарование Севильи.

На *alameda* не слышно слов *señor* и *señora*, а только *doña Dolores*, *don Fernando*, *doña Ángeles*, *don Luis*; здесь еще более, чем в средней Испании, следуют обычаю звать друг друга по именам. Подумаешь, что находясь на каком-нибудь семейном празднике. А как вам покажется следующий обычай: на *alameda* можно заговорить с своим соседом или с *соседкой* на скамье... не смейтесь над моими словами, не судите о Севилье по обычаям европейским и не спешите из этого заключать о *легкости* севильянок. Здесь это не удивляет, не оскорбляет женщины: здесь это в нравах. От этого нет города в Европе, в котором было бы больше случаев к знакомству и сближению. Но, по странному противоречию, для девушек здесь больше свободы, нежели для женщин. В Севилье вообще женщин вдвое более, нежели мужчин; следствием этого то, что здешние девушки томятся не одной только любовью, но и желанием выйти замуж, и в андалузских нравах каждой девушке иметь своего *povio* — жениха. Если вы понравились девушке, она тотчас даст вам это заметить; заговорите с ней, когда она вечером прогуливается, и, хоть бы с матерью, она ответит вам и скоро позволит притти ночью к ее окну. Прогулка по Севилье ночью особенно интересна. Беспреданно видишь у окон мужчин в плащах и андалузских шляпах: на ночные беседы у окон и балконов непременно ходят в простонародном костюме. Мужчина, при вашем приближении, закрывается в плащ так, что закрывает им свое лицо; разговор прервался — и, проходя мимо окна, вы увидите в стороне его два сверкающих глаза... глаза андалузки и в темноте сверкают! Но остерегайтесь по несколько раз проходить перед окном, у которого идет таинственная беседа: вас могут принять за подсматривающего сонерника, а здесь никто не ходит на ночное свидание, не запасаясь стилетом или, по крайней мере, пожом. Даже ночные патрули уважают кавалеров ночи, позволяя себе только невинные остроты на их счет. Мать знает, что дочь ее разговаривает по ночам у окна с молодым человеком; дочь говорит, что это ее *povio* — жених. Большая часть браков составляется посредством этих ночных разговоров; случается, что иные разговаривают так по целому году и после женятся, выйдая только или у окна, или в церкви. Если *povio* отстал, на девушку это не бросает ни малейшей тени, да и на



его место тотчас же является другой. Сколько иностранцев, приехав сюда на неделю, заживаются здесь по году и более, между тем как в Севилье, кроме «бега быков» и плохого театра, нет никаких развлечений. Но эти нравы имеют столько романической прелести, в этих чудных женщинах столько потребности любить (здесь это их единственное занятие!), и я понимаю, как в двадцать лет, при горячей крови, пылом, увлекающемся сердце, и если, при этом, стремление к наслаждениям преобладает над всеми другими стремлениями, — я понимаю, как можно в Севилье прожить целые годы в самом блаженном сне, который, право, стоит многих других, *деловых* снов. Но я должен, однако ж, сказать, что здешние молодые люди жалуются на севильских девушек, будто они имеют постоянную целью выйти замуж и в своих сближениях с молодыми людьми, в своих ночных свиданиях у окон, следуют советам матерей, с которым будто бы заключен у них оборонительный и наступательный союз. Впрочем, мне случилось удостовериться и в противном. Я знаком здесь с одним молодым американцем из Нового Орлеана: он приехал взглянуть на Севилью, — и живет здесь уже восьмой месяц. Он любит и любим. Мать запретила даже его любезной сидеть по ночам у окна, оконная рама была заделана железом, но дочь все-таки нашла средство видаться с ним... Правда, что здесь нет ничего легче, как познакомиться с девушкой и получить от нее свидание у окна, но между этого рода сближением и ее любовью — далеко. Первое есть, может быть, не более, как страшное средство раздражить чувственность и привязанность, чтоб заставить жениться; другое... да другое не требует объяснений...

Андалузка в высшей степени кокетлива; она тотчас чувствует на себе глаз мужчины и никогда не переносит его равнодушно. Надобно привыкнуть к тону севильских женщин: в их манере есть что-то резкое; но это резкое не от грубости, а от необыкновенной живости, стремительности чувств; может быть, отсюда происходит и фамильярность адевших женских обществ, фамильярность, исполненная самого тонкого, так сказать, внутреннего приличия, этой изящной вежливости, так не похожей на приторную церемонность северных обществ (не исключая и парижского), которую, бог знает почему, считают за хороший тон. При всеобщей одинакости черного платья и мантильи севильянкам невозможно щеголять модными костюмами: их главное щегольство в маленьких ножках, и надобно сказать, что их руки и ноги — формы совершеннейшей. Если о *породе* женщин можно судить по рукам, ногам и носу, то, без всякого сомнения, порода андалузок самая совершеннейшая в Европе. Я думаю, щегольство маленькой ножкой заставляет севильянок даже выносить страдания: они носят такие башмаки, в которых нет возможности поместиться никакой ноге в мире: кроме того, их башмаки едва охватывают пальцы ноги. Глаза севильянок состоят из мрака и блеска, *mucho negro* у *mucho luz*, — много тьмы и много света, — как выражается одна севильская песня, и действительно, за черным блеском их не видать белка, и столько в них дерзкой выразительности, что, поверьте, нужно обжиться здесь для того, чтоб не чувствовать от них особенного волнения. У испанцев есть особенный глагол — *ojea*, бросать взгляд, и каждая севильянка владеет этим в совершенстве. Она сначала потупляет глаза и, поровнявшись с вами, вдруг вскидывает их: внезапный блеск и пристальность взгляда действуют, как электричество. А это еще взгляд равнодушный!

Здесь женщины ничего не читают; и это отсутствие всякой начитанности придает андалузкам особенную оригинальность: их не коснулись книжность, вычитанные чувства, идеальные фантазии, претензии на образованность. Ведь остроумное невежество лучше книжного ума. Невежество севильянки при ее живом воображении, при огненной движи-

мости ее чувств, при этой врожденной, свойственной одним южным племенам тонкости ума, исполнено прелести увлекательной, перед которою так называемая образованность европейских дам кажется приторною книжностью. Нигде не встречал я такого странного слияния детской наивности с дерзостью и удалю: это и ребенок и вакханка вместе. В наружности севильянки нет и тени того спокойствия, которое более или менее отличает женщин всех наций в Европе: это в высшей степени нервическая натура, но только не в болезненном, северном смысле этого слова. Я думаю, никакая женщина в Европе не может возбудить к себе такого энтузиазма, как андалузка. В глазах их нет выражения кротости, как в глазах северных женщин: в их глазах блестит смелый дух, решительность, сила характера. Того, что мы называем женственностью, сердечностью, — не ищите у них. В кокетстве андалузки проступает что-то тигровое, в их улыбке есть что-то дикое: чувствуешь, что самое прекрасное лицо тотчас может принять выражение свирепое... и что ж удивительного! эти обаятельные головки, эти женщины с невообразимою некою движений, эти глаза, о выразительности которых невозможно иметь понятия, не быв в Андалузии, — они нынче утром наслаждались убийством, равнодушно смотрели на лошадей, которых внутренности влачили по земле, они знают до тонкости все подробности смертных судорог, они смотрели на смерть с увлечением, со страстью... а вечером вы слышите здесь, как слышал я вчера, поздно возвращаясь к себе домой, меланхолические аккорды гитары, и те же уста задумчиво поют:

Mas vale trocar  
Placer por dolores  
Que estar sin amores... <sup>10</sup>

«Лучше променять радость на горе, чем жить без любви.

В счастье и умереть сладко; жить в забвении — все равно что не жить; лучше переносить страданье и печаль, чем жить без любви.

Жизнь без любви — пропадающая жизнь, а умение употребить жизнь важнее самой жизни; лучше томиться, перенося горести, чем жить без любви».

Испанский народ сохранил в себе плодотворные залоги быстрых успехов на пути развития: живость ума, благородство характера, свежесть и энергию чувства. Между народами Западной Европы трудно указать такой, который стоял бы выше его по всем этим качествам. Напротив, над большею частью цивилизованных наций испанский народ имеет бесспорное преимущество в одном чрезвычайно важном отношении: испанские сословия не разделены между собою ни закоренелою ненавистью, ни существенною противоположностью интересов; они не составляют каст, враждебных одна другой, как то видим во многих других западных европейских землях; напротив, в Испании все сословия могут дружно стремиться к одной цели. Одно только существенное препятствие мешает теперь блистательному возрождению Испании, — но это препятствие так губительно, что до сих пор совершенно останавливало всякий прогресс, — выше мы называли это препятствие ленью, привычкою к бездействию и говорили об

исторических причинах, породивших эту пагубную привычку к бездействию. Теперь надобно нам ближе определить ее характер и указать обстоятельства, которыми до сих пор поддерживается она.

Бездействие может происходить от бессилия или от беззаботности. Не знаем, есть ли на самом деле племена бессильные, как часто говорят. Но ни в каком случае нельзя назвать бессильным испанского племени. Его бездействие — следствие беззаботности. Вот как, например, смотрит испанец на государственные дела своего отечества:

«Политическая Испания есть какое-то царство призраков. Здесь никак не должно принимать вещи по их именам, но всегда искать сущности под кажимостью, лицо под маскою. Сколько уже лет говорят в Европе об испанской конституции, о партиях, о журналистике, разных политических доктринах, о воле народа и т. п.; все это слова, которые в Европе имеют известный, определенный смысл, — приложенные же к Испании имеют свое особое значение. Прежде всего надо убедиться в том, что массы, народ здесь совершенно равнодушны к политическим вопросам, которых они, к тому же, нисколько не понимают. Кастильцу-простодушину нужно работать, может быть, только две недели в году, чтоб вспахать свое поле и собрать хлеб, да еще большею частью приходят жать его валенсиянцы; остальное время он спит, курит, ест и нисколько не заботится о всем том, что лично до него не касается.

«Испания, удущенная тремя веками самой ужасной администрации, подпавшая двум чужестранным династиям, из которых первая начала жестокостью, насилием и кончила решительным идиотизмом, — другая почти непрерывно занималась одними дворцовыми интригами, — бедная Испания силится разбить теперь эту кору невежества, под которую столь долго томилась она. Глубоко ошибаются те, которые судят об Испании по французским идеям, по французскому общественному движению. Кроме множества радикальных различий, не должно забывать, что Франция была приготовлена пятьюдесятью годами философской литературы. В Испании, после писателей ее «золотого века», в продолжение двух веков не было другой литературы, кроме проповедей духовенства, которое, конечно, всеми силами старалось о поддержании старого общественного устройства, в котором само господствовало. Посмотрите теперь на испанские журналы всех партий! Меня больше всего поражает в них решительное отсутствие всякой рассудительной теории, даже всякой практической мысли. Идей нет, — есть одни лица и имена; ни один вопрос государственного устройства не подвергается анализу. Перевероты в Испании не могут выйти из масс, которые даже не имеют о них понятия. Здесь самый бедный, последний мужик всегда вдоволь имеет хлеба, вина и солнца, здесь у самого нищего есть на зиму и шерстяные панталоны и теплый шерстяной плащ, тогда как французский мужик, например, и зиму и лето прикрывается одною тощею, холстинною блузой. Кроме того, этот народ одарен удивительным чувством повиновения: лучший пример — все царствование Фердинанда VII. Испанцу словно недоступна никакая общая идея, хотя отвлеченное понятие об общем деле».

Видите ли, ему нет охоты позаботиться об этом, он махнул рукою на все, воображая, что эти дела — не его

дела: «пусть себе идут, как хотят, — лично мне ни тепло, ни холодно не будет от общего порядка дел».

Надобно ли говорить, что такое равнодушие возможно только при совершенном невежестве? Невежество — вот коренная язва Испании.

Привычка довольствоваться в жизни слишком малым, обходиться без всяких удобств — вот другой источник этой беззаботности. До последнего времени испанец не чувствовал надобности ни в хорошей мебелировке дома, ни в хороших товарах, ни в удобных путях сообщения; комнаты самых богатых людей были до последнего времени мебелированы самым скудным образом, платье шилось из плохих материалов, пища соответствовала мебелировке и качеству материй, и когда испанец пускался в путь, он не чувствовал беспокойства, медленности и дороговизны езды верхом на мулах, по убийственно дурным дорогам — «что-нибудь» и «как-нибудь» совершенно удовлетворяло его, — лучшего ничего и не воображал он себе.

Наш век неблагоприятен таким невзыскательным понятиям о житейских удобствах, неблагоприятен и для невежества. Прежде люди могли успокаиваться на том, чтобы жить как-нибудь, лишь бы не умереть голодною и холодною смертью. Теперь в душе каждого неизгладимо запечатлелась мысль о благосостоянии, по крайней мере, в житейском быту. Испанцы уже чувствуют необходимость в железных дорогах, в дешевых и хороших товарах, в развитии торговли, промышленности. Этого чувства уже довольно — оно приведет за собою все остальное; кто начал думать о благосостоянии, тот скоро поймет, что ни одно из условий благосостояния не может существовать без разумного порядка дел, которым бы обеспечивались приобретения каждого отдельного лица, скоро поймет, что возможность благосостояния для отдельного лица обуславливается общим хорошим порядком дел. А чтобы водворить такой порядок дел, нужно знание, и потому стремление к материальному довольству всегда влечет за собою пробуждение жажды знаний, оживление умственной деятельности в нации. Невеждою может оставаться только тот, кто, находясь в жалком положении относительно своего житейского быта, не чувствует неудовлетворительности этого жалкого положения. Потребность улучшить свой быт необходимо влечет за собою потребность умственного труда.

Испания вошла уже в такую тесную связь с остальною Европою, что не может оградить себя от сочувствия

стремлениям века. Единственные важные недостатки, которыми страдает испанский народ, — беззаботность невежества и равнодушие к улучшению материального быта, — эти недостатки прямо противоположны потребностям и стремлениям нашего века, и потому нет нужды в особенной отважности, чтобы решиться сказать: недостатки эти должны исчезнуть, и исчезнуть быстро.

Мы сделали много выписок из книги г. Боткина, но читатели, помнящие его «Письма об Испании», видят, что мы касались почти исключительно только одной стороны разнообразного содержания, представляемого его рассказами. Не одна природа и общественная жизнь Испании занимают его внимание — частный быт, памятники искусства, исторические воспоминания не меньше этих предметов интересовали его и являются не менее интересными читателю в его описаниях.

Мы не можем не обратить особенного внимания читателей на «Письма об Испании», ибо, повторяем, подобного рода путешествия, в которых серьезность взгляда соединяется вместе с глубоким поэтическим чувством, являются не часто.